

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ЛИШНЯЯ НА СНИМКЕ



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1882

Надежда Чародейская

Лишняя на снимке

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Лишняя на снимке / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, 1882 год. Фотограф Сергей Вересов снимает семейный портрет купца Полуянова к помолвке дочери. Проявляя негатив, он видит то, чего не было в павильоне, — седьмую фигуру: женщину в трауре. Через три дня купца находят отравленным. Подозрение падает на фотографа: яд — обычный реактив из его тёмной комнаты. Чтобы спастись, Вересов должен выяснить, кто прячется на снимке, — и доказать, что светопись не лжёт. Ретро-детектив: туманный Петербург, ирония и фотография, которая видит больше, чем люди.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая,	7
Глава вторая,	14
Глава третья,	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Лишняя на снимке

Пролог

Стекло ещё покачивалось в проявителе, а в красном свете фонаря уже проступало то, чего не должно было быть.

Вересов склонился над ванночкой и смотрел, как из серебристой мути медленно рождается семейство Полуяновых: глава дома в шюртуке, с золотой цепью через живот; супруга его в бархате, похожая на диван; два сына; невеста в белом; жених с прилизанным пробором. Все расселись, как велено: кресла, драпировка, пальма в кадке. Как по нотам.

И всё же чего-то было лишнее.

— Макар! — позвал Вересов, не оборачиваясь. — Ступай сюда. Скажи, сколько Полуяновых я сегодня снимал?

За спиной зашмыгало носом.

— Шестеро, Сергей Ильич. Сам считал, пока вы их рассаживали. Шесть душ, как на подбор.

— А теперь сосчитай на стекле.

Макар привстал на цыпочки, повёл пальцем по мокрому негативу — и осёкся.

— Семь, — сказал он шёпотом. — Их тут семь...

У самой драпировки, за левым плечом невесты, стояла седьмая фигура. Женщина. В чёрном. Лицо — бледное пятно под вуалью.

Вересов знал в своём павильоне каждый гвоздь. Эту драпировку он собственноручно вешал на прошлой неделе. И он готов был присягнуть, что в тот миг, когда он нырнул под чёрное сукно и скомандовал «спокойно-о! не дышите... снимаю!», в павильоне не было никого, кроме шестерых заказчиков и его самого.

Входная дверь была заперта на ключ. Окна под стеклянным скатом крыши не отворялись с весны.

— Сергей Ильич... — начал Макар.

— Молчи, — велел Вересов. — Пластину в фиксаж. И никому ни слова.

Он выпрямился, потёр переносицу — там, где от очков оставалась красная вмятина, — и произнёс негромко:

— Кажется, Макар, у нас с тобой получился не портрет, а улика.

Макар перекрестился. Вересов же, напротив, не двинулся с места: он стоял у ванночки и смотрел, как пластина, покачиваясь в фиксаже, отдаёт воде серебристую муть, а из неё, уже навсегда, проступают семь фигур. Шесть — тех, кто пришёл сниматься по доброй воле. И одна — та, кого никто не звал, но кто всё равно пришла.

В тот вечер Вересов ещё не знал ни её имени, ни её судьбы. Не знал, что через три дня в доме на Большом проспекте умрёт человек, что его самого обвинят в отравлении и что вся его прежняя, аккуратная, как отпечаток, жизнь пойдёт трещинами от одной-единственной лишней фигуры. Не знал он и того, что эту фигуру ему придётся проявлять долго и мучительно — как проявляют снимок, на который свет упал дважды и в котором правда перемешалась с ложью так, что не сразу разберёшь, где кончается одно и начинается другое.

Он знал только одно — то, что знал с той самой ночи в аптеке у Тихона Ильича, когда впервые увидел, как на стекле из ничего рождается лицо: светопись не лжёт. Она лишь медленно, по-своему, проявляет правду. И тот, у кого хватит терпения смотреть, — увидит всё.

— Запри, — бросил он Макару. — И фонарь не гаси. Эта пластина нам ещё пригодится. Чует моё сердце — не для портрета она снята.

Он вышел из тёмной комнаты в приёмную, где за окном уже сгустился октябрьский туман, и долго смотрел, как фонарь на углу тонет в белой мгле — последний фонарь на краю света. А за его спиной, в красной полутьме, на мокром стекле, досыхала улика, которой предстояло перевернуть не одну судьбу — и его собственную в том числе.

Глава первая,

в которой на Аптекарском острове пахнет коллодием, а судьба является без доклада

Санкт-Петербург в начале октября тысяча восемьсот восемьдесят второго года походил на человека, который всю ночь пил липовый чай и к утру так и не пропотел: город был сер, сыр и вял. Туман висел над Невой, как мокрое бельё на верёвке, и даже чайки летали в нём на ощупь, переругиваясь сквозь зубы. На Петербургской стороне туман был гуще и нахальнее: он залезал под воротники, гасил фонари и делал так, что прохожий на другой стороне улицы казался привидением, которому скучно без дела. Дворники мели мокрую листву, извозчики кляли скользкую брусчатку, а в чайных уже с утра самовары плевались паром в запотевшие окна — город просыпался, но делал это нехотя, как человек, знающий, что за окном всё равно ничего хорошего.

Вересов этого тумана не видел. С восьми утра он сидел в тёмной комнате и проявлял вчерашние визитные карточки, а в тёмной комнате виден только красный глаз фонаря да собственные руки.

Руки у него были фотографические: в бурых пятнах ляписа, с обкусанным ногтем на мизинце и вечной синей царапиной от стеклянного края на большом пальце. Такими руками не пишут романов и не держат шпаг; такими руками достают из кассеты стекло, не уронив его, — а это, доложу я вам, искусство почти ювелирное. Стекло скользит, как угорь, свет боится, как невеста, а коллодий сохнет быстрее, чем кончается терпение. Кто не держал в пальцах мокрую пластину, тот не поймёт, отчего фотографии бывают и суетны, и молчаливы разом: у них вся жизнь — между «успел» и «опоздал».

Было Вересову двадцать семь лет, из коих три последних он числился владельцем и единственным мастером ателье «Светопись Вересова» на Аптекарском острове. Тремя годами ранее он оставил Медико-хирургическую академию — не оттого, что не потянул науки, и не оттого, что срезался на анатомии (анатомию он, напротив, любил: в мёртвом теле, говорил он, всякий дурак разберётся, попробуй разберись в живом). А оттого, что однажды, помогая знакомому аптекарю составить проявитель, он поймал себя на странном: ему было решительно всё равно, чем закончится варка декокта, — но безумно хотелось увидеть, как на стекле, в красной полутьме, из ничего проступает лицо.

«Это, брат, то же чудо, что рождение», — сказал ему тогда аптекарь, помешивая раствор. Вересов тогда засмеялся, а ночью не спал, всё думал. Через месяц он забрал документы из академии и поступил учеником к старику-дагеротиписту на Гороховую. Ещё через год купил в рассрочку деревянный дом с мезонином на Аптекарском и переделал половину второго этажа под стеклянный павильон.

С тех пор покойники попадались ему исключительно в виде заказчиков посмертных портретов, и снимал он их, надо признать, куда удачнее, чем иные лечат живых. Мёртвые, говорил он, не моргают и не спорят о выражении лица — с ними работать одно удовольствие.

Ателье помещалось в двухэтажном деревянном доме с мезонином, крашенном охрой, с зелёной крышей и с вывеской, на которой фотограф, в припадке самолюбия, велел написать просто: «СВЕТОПИСЬ». Соседи сперва крутили носом — что за слово, не по-русски, — но потом привыкли и даже гордились: у них, на Аптекарском, своё «светопись» имеется, не хуже, чем у людей на Невском.

Внутри дом делился так: внизу — приёмная, где пахло лаком и скипидаром, и где на стенах висели образцы: дамы с причёсками-башнями, чиновники с глазами навывкате, младенцы, похожие на свёртки белья. Наверху — стеклянный павильон, гордость Вересова и единственная его роскошь, с драпировкой в складку, с пальмой в кадке и с креслами, в которых перебывала, кажется, вся Петербургская сторона. И, наконец, тёмная комната — святая святых,

куда не входил никто, кроме хозяина и Макара, и где пахло эфиром и бедой: коллодий, ляпис, железный купорос, а в дальнем углу, на полке под замком, — банка с фиксажем, с цианистым калием, ядом, без которого не бывает ни одного приличного снимка и ни одной тихой смерти.

Под лестницей, в чулане, жил Макар.

Макар был пятнадцати лет от роду, из бывших беспризорных, и Вересов подобрал его год назад у Сытного рынка при обстоятельствах, о которых оба рассказывали по-разному. По версии Вересова, дело было так: он шёл с рынка с покупками, мальчишка выхватил у него из корзины калач — и тут же попался, потому что калач был горячий и обжигал руки. По версии Макара, всё было иначе: он не выхватывал, а спасал калач от дождя, и вообще Вересов сам его позвал — «потому что скучно ему было одному». Правда, как водится, лежала посередине, а точнее — в той сделке, что они заключили на месте: Вересов дал мальчишке три копейки и кусок ситного, а Макар, почесав босую пятку, заявил, что теперь, стало быть, нанимается к нему в услужение, и никаких других вариантов он, честное слово, не рассматривает.

С тех пор Макар состоял при ателье в трёх должностях сразу: ученик, ретушёр и, по собственному выражению, «завхоз по сомнительным делам». Учеником он был нерадивым — засыпал над проявителем и путал «негатив» с «позитивом», — зато ретушёром вышел отменным: у него был глаз, как у кота, и рука, лёгкая, как воровская. А «сомнительные дела» и вовсе были его стихией: он умел открывать любую дверь шпилькой, знал наперечёт всех городских Петербургской стороны — и не просто знал, а знал, кто из них пьёт, кто берёт, а кто честный и потому опасный, — и мог достать что угодно, от магнезии до билета в оперетту, не задавая лишних вопросов и, что важнее, не давая на них ответов.

— Светопись, Сергей Ильич, — говаривал он, — это, конечно, наука. Но жизнь — она тоже наука. Только в ней проявитель дороже.

Вересов на такие речи качал головой, но про себя признавал: без Макара его ателье давно бы съели конкуренты. В городе было триста фотографических заведений, и каждое норовило откусить от соседа. А Макар сидел на крыльце, как цепной пёс, и вся округа знала: у Вересова за спиной — мальчишка, который видит насквозь.

В то утро, о котором речь, Макар ворвался в тёмную комнату как раз в ту минуту, когда Вересов, затаив дыхание, переносил мокрую пластину из проявителя в фиксаж.

— Сергей Ильич! — Макар перешёл на заговорщицкий шёпот, хотя заговорщиком в этом доме был скорее Вересов. — Там к вам человек. В сюртуке. С портфелем. Пахнет от него, как из лавки: чаем и почтением.

— Чаем и почтением? — Вересов не обернулся. — Это хорошо. Почтение, Макар, стоит дороже чая. Скажи, пусть обождёт в приёмной, и предложи ему «Ниву» за прошлый год. Не захочет читать — пусть смотрит на образцы.

— А если он по делу?

— Все они по делу, — философски заметил Вересов. — Одному нужен портрет к празднику, другому — посмертный снимок к похоронам, третьему — визитки, чтобы раздавать их тем, кого он всё равно забудет. Ступай. И, гляди, не свались с лестницы.

— Я, что ли, когда сваливался? — обиделся Макар, но ушёл, и в доме стало слышно, как он внизу шаркает по приёмной, отодвигая стул для гостя.

Вересов довёл пластину до конца — фиксаж, промывка, — и, уже отмывая руки над тазом, услышал то, на что поначалу не обратил внимания: за стеной, в глубине дома, скрипнула половица. Скрипнула и смолкла. Вересов замер, прислушался. Тихо. Только Макар внизу переговаривается с гостем.

«Стар дом, — подумал он. — Сто лет скрипит, и ещё сто простоит». И пошёл наверх, не придав значения.

Гостя он увидел ещё с лестницы: тот сидел на самом краешке стула, как сидят люди, привыкшие стоять перед хозяином, а не сидеть у хозяина. Был он тощ, гладко выбрит, в добротном,

но поношенном сюртуке, и держал на коленях портфель, как держат ребёнка, которого велено не уронить. Рядом на столике лежал развёрнутый журнал, но гость в него не смотрел: глаза его бегали по стенам, по образцам, по двери в павильон, и останавливались на всём подряд, как у человека, который пришёл не столько говорить, сколько высматривать.

— Дутов, Евграф Силыч, — представился он, слегка поклонившись. — Доверенный приказчик Тихона Саввича Полуянова. Чайная торговля «Полуянов и сыновья». Извольте знать?

Вересов, разумеется, знал: Полуяновы держали чай на Гостином дворе, а чай в Петербурге — это почти религия. Имя Полуянова знал всякий, кто хоть раз заваривал цейлонский пополам с китайским; а кто не знал, тот всё равно пил его чай, сам того не ведая. Но виду Вересов не подал.

— Наслышан, — кивнул он. — Чем могу служить?

— Хозяин желает семейный портрет. Кабинетный формат, раскрашенный, в раме. По случаю помолвки дочери, Аграфены Тихоновны. Шесть персон.

— Шесть персон — это не портрет, а губернский съезд, — заметил Вересов. — Но справимся. Когда?

— Послезавтра, в два пополудни. Хозяин просил, чтобы всё было как у людей: чинно, быстро и без лишних разговоров.

— Без лишних разговоров не обещаю, — сказал Вересов. — Съёмка — дело молчаливое, но рассадить шестерых так, чтобы никто не закрыл соседа, — тут без разговоров никак. Начнёте ссориться, кто где сидит, — выйдет не портрет, а свара.

Дутов позволил себе улыбку одними губами.

— Семейство у нас, сударь, — проговорил он осторожно, — большое, и характеры, сами понимаете, разные. Хозяин просил, чтобы вы уж как-нибудь ладили. Он человек суровый, но отходчивый. А супруга его, Марфа Егоровна, — женщина с понятием, ей только угоди.

— Угожу, — пообещал Вересов. — Угодать — половина моей профессии. Вторая половина — не ронять стекло.

Он назвал цену без заминки — двадцать пять рублей с раскраской и рамой. Дутов, как и положено доверенному, поколебался для приличия, помял губы, посмотрел в потолок, потом согласился, но попросил скидку «на знакомство». Вересов скидку не дал, зато пообещал лучший павильон и самую терпеливую выдержку. На том и ударили по рукам.

И вот тут-то, во время этой нехитрой торговли, Вересов снова услышал тот же звук: за стеной, в глубине, скрипнула половица — на этот раз ближе, будто кто-то переступил с ноги на ногу и замер. Вересов бросил взгляд на дверь, ведущую в заднюю часть дома. Дверь была прикрыта. Макар? Нет, Макар как раз вошёл с подносом — стакан чаю гостю, — и обе его ноги были при нём.

— У вас, кажется, дом с историей, — обронил Дутов, принимая стакан. — Старые дома любят поскрипывать.

— Дома не скрипят, — сказал Вересов, — скрипят половицы, которым наступили на спину. — И, помолчав, прибавил с улыбкой: — Впрочем, у нас на Аптекарском в каждом доме либо привидение, либо мышь. И то и другое к светописси отношения не имеет.

Дутов покивал и заторопился. Вынул из портфеля задаток — пять рублей серебром, — пересчитал на столе, как пересчитывают чужие деньги, и поднялся.

Уже у двери он обернулся — и Вересов впервые заметил за ним странность: выходя, приказчик оглянулся на стеклянный павильон так, словно ждал, что оттуда кто-нибудь выглянет.

— Вы чего-то ищете, Евграф Силыч? — спросил Вересов.

— Нет-нет, — Дутов поправил портфель. — Смотрю, какое у вас стекло. Большое. Значит, света хватает.

И ушёл. А Вересов ещё долго смотрел ему вслед и думал, что человек, пришедший заказывать семейный портрет, редко оглядывается на чужой павильон так, будто оттуда за ним следят.

— Макар, — позвал он, вернувшись в приёмную. — А ну-ка, поди глянь, что у нас во дворе. И в тёмной комнате. Только тихо.

Макар, чуя, что от него требуется не служба, а искусство, скользнул в заднюю дверь бесшумно, как тень, и через минуту вернулся.

— Пусто, — доложил он. — Двор как двор. Кассеты на месте, банки целы. Только... — он замялся, — задняя дверь, что на двор, была не заперта. Я её сроду не запираю, вы же знаете. А на крыльце — след. Свежий. Большой такой сапог, с подковкой на каблуке.

— С подковкой? — переспросил Вересов.

— С подковкой, — кивнул Макар. — А что?

— Да так, — Вересов пожал плечами. — Мало ли кто у нас во дворе ходит. Соседский кучер, трубочист. Ступай, готовь павильон к послезавтрашнему. И кассеты пересчитай. Все до одной.

— Да я ж их третьего дня пересчитывал...

— Пересчитай, — повторил Вересов. — И те, что заряжены, пометь. Чтоб ни одна не путалась. Путаная кассета, Макар, — это, знаешь ли, хуже, чем путаная невеста: с невестой разберёшься, а стекло тебя выдаст.

Макар вздохнул с видом мученика и поплёлся наверх, бормоча, что кассеты он и без пометок узнает в темноте, как родню. Вересов проводил его взглядом и, уже не улыбаясь, прошёл в тёмную комнату — проверить, на месте ли фиксаж.

Банка стояла на полке, запертая. Вересов тронул замок, подергал — цел. И всё же что-то царапало, какая-то смутная, неоформленная тревога, как бывает у фотографа, когда вроде и свет ровный, и выдержка верная, а снимок всё равно выйдет не тот.

В назначенный день Полуяновы прибыли целым обозом: две пролётки, извозчик с корзинами и дворник с зонтом на случай, если свет возьмётся капризничать. Вересов встречал их на крыльце и по очереди проводил наверх, в павильон, — и, признаться, минут десять чувствовал себя не фотографом, а распорядителем на вокзале, и ещё немного — таможенным смотрителем: столько в этом семействе было скарба, характеров и претензий.

Первым шёл сам Тихон Саввич — грузный, с бородой лопатой, в сюртуке, который, казалось, шили на двоих, а носил один. Золотая цепь через живот отсвечивала, как и положено цепи, знающей цену себе и хозяину. Подымаясь по лестнице, он ступал тяжело и с достоинством, как человек, привыкший, чтобы под ним скрипели не половицы, а судьбы.

— Ну-с, молодой человек, — прогудел он с порога, оглядев павильон, — показывай своё хозяйство. Хорош ли свет у тебя, ровен ли?

— Свет, Тихон Саввич, у меня ровный, как ваша торговля, — отвечал Вересов, кланяясь. — Стекло над головой — от лучшего мастера, загляденье. Поглядите сами: вон как драпировка легла, ни одной складки лишней.

Купец поглядел, потрогал драпировку, понюхал воздух — не пахнет ли сыростью, — и, оставшись доволен, кивнул.

За ним плыла Марфа Егоровна, дородная, в бархате цвета спелой сливы. Она осмотрела павильон, как осматривают гостиницу, в которой не собираются оставаться: брезгливо, но внимательно. Заглянула за драпировку, за пальму, даже под стул — не закатилась ли туда чья-нибудь забытая перчатка, а может, и чужой секрет.

— Сыростью у вас пахнет, — изрекла она. — У господина фотографа, верно, и ревматизм, и сырость — всё вместе.

— Сырость, сударыня, — отозвался Вересов, — это не порок, а атмосфера. Без неё и Петербург был бы не Петербург, а так, большой барабан.

Марфа Егоровна поджала губы, но возражать не стала: барабан ей чем-то не понравился.

Старший сын, Никита Тихонович, вошёл ссутулившись, словно потолок был ему мал, и встал у окна, скрестив руки. Был он лет тридцати пяти, тёмный, лобастый, с тяжёлой челюстью и с таким взглядом, будто всё вокруг принадлежит ему по праву, а платят за это, как всегда, другие. На приветствие Вересова он едва кивнул и весь остальной разговор слушал вполуха, перебирая в кармане что-то звякающее — не то ключи, не то монеты, не то собственная злость.

— Вам бы, Никита Тихонович, — предложил Вересов, прикидывая расстановку, — стать по левую руку от батюшки. Свет у меня падает справа, а с вашим лбом это выйдет картинно.

— Мне всё равно, где стоять, — отрезал Никита. — Стой, где поставят. Лишь бы не дольше нужного: у меня дела, а не прогулки.

— Дела у всех, — примирительно заметил Тихон Саввич. — А портрет, Никита, — это тоже дело. Семейное. Ты потерпи, не барин.

Никита промолчал, но по лицу его было видно, что терпение — не самая любимая его наука.

Младший сын, Аполлон, явился последним, с опозданием на десять минут, в пенсне, с тростью и с лёгким запахом мадеры. Он улыбался всем сразу, и улыбка у него была, как у человека, который давно понял, что улыбаться выгоднее, чем думать. Вошёл он, впрочем, не столько вошёл, сколько вплыл — и тотчас завладел разговором, как завладевают местом у печи.

— Поля, — представился он Вересову, трясая ему руку обеими руками. — То есть Аполлон Тихонович. Не смущайтесь, батюшка у нас Полями не признаёт, ему Поля — что-то вроде уличного прозвища. А по мне, чем проще, тем изящнее. Снимать меня, сударь, надобно с тростью — я без трости в кадре как гусар без сабли, согласитесь?

— С тростью так с тростью, — согласился Вересов. — Только уж вы тогда стойте, не шевелитесь, а то трость выйдет смазанной.

— Выдержу, — пообещал Аполлон и тут же чихнул, отчего пенсне у него соскочило и повисло на шнурке, как пойманная рыба. — Ах, чёрт. Это у меня, знаете ли, от мадеры. Врач говорит — подагра. А я говорю врачу — наследственность. Батюшка, вон, тоже чихает, когда волнуется.

— Я не чихаю, — буркнул Тихон Саввич.

— Это потому, что ты, батюшка, не волнуешься, — невозмутимо ответил Аполлон. — А мне, по молодости лет, всё волнение.

Невеста, Аграфена Тихоновна, оказалась хороша той бледной, водянистой красотой, какая бывает у девушек, много читающих при свечах. Она вошла вслед за матерью, поздоровалась тихо, почти беззвучно, и встала у окна, опустив глаза, как и положено невесте. Лишь раз, украдкой, она глянула на жениха — и в этом взгляде, коротком и пронзительном, было столько всего сразу, что Вересов, человек наблюдательный, мысленно поставил рядом с её именем восклицательный знак.

Жених, Ефим Петрович Звонарёв, был прилизан от пробора до носков ботинок и нервничал, как человек, у которого в кармане долговая расписка, а впереди — тесть. Держался он, впрочем, отменно: кланялся, улыбался, сыпал французскими словечками, из которых Вересов разобрал едва половину, и всё норовил встать поближе к невесте, как будто боялся, что её, чего доброго, уведут. При этом глаза у него, сквозь всю эту любезность, были холодные и счётные, как у человека, который смотрит не на невесту, а на приданое, и не на тестя, а на его капитал.

— Господа, прошу, — Вересов широким жестом обвёл павильон. — Рассадимся так, чтобы все вошли в кадр и никто не вошёл в тень.

Рассаживали долго. Марфа Егоровна желала сидеть, Тихон Саввич желал стоять, Никита вообще не желал, а Аполлон желал, чтобы его сняли с тростью. Аграфена желала стоять рядом с женихом, жених — чтобы его сняли анфас, потому что, по его словам, в профиль у него

«невыгодная линия подбородка». Марфа Егоровна на это заметила, что у некоторых и анфас линия невыгодная, и жених сделал вид, что не расслышал.

Вересов выказал терпение, достойное лучшего применения: он усадил главу семейства в кресло, супругу — по правую руку, невесту с женихом — по бокам, а сыновей поставил за спинами, как часовых у семейного счастья. Аполлону трость всё же разрешили — «для картинности», как он выразился, — и он тотчас принял позу, достойную, по его мнению, портрета в Эрмитаже.

— А теперь, господа, — распорядился Вересов, выныривая из-под чёрного сукна, — попрошу тишины. Не дышать. Не моргать. Смотреть сюда, в объектив, и думать о чём-нибудь приятном.

— О чём приятном? — переспросил Аполлон. — О мадере, что ли?

— О чём угодно, только не о мадере, — шепнул Вересов. — О мадере, сударь, глаза стекленеют, а мне нужны живые.

Он накрылся сукном, вынул крышку с объектива и поднял руку.

— Спокойно-о... не дышите... снимаю!

В стекле что-то щёлкнуло. Птица за окном, испугавшись, сорвалась с карниза. Семейство Полуяновых замерло на три секунды — целая вечность для людей, привыкших всё время о чём-то торговаться.

А Вересов, глядя сквозь стекло, успел за эти три секунды увидеть то, чего не увидел бы иной за три года знакомства.

Тихон Саввич сидел в кресле, как на троне, но пальцы его, лежавшие на подлокотнике, были сжаты в кулак — так сжимают руку люди, которые держат не подлокотник, а последнюю надежду. Смотрел он не в объектив, а чуть мимо, словно за спиной у фотографа стоял кто-то, кого он ждал и боялся увидеть.

Марфа Егоровна, по правую руку, сидела ровно, как вырубленная из бархата, но губы её были сжаты в нитку, а подбородок вздёрнут — так держатся люди, которым есть что скрывать и которые знают, что их за этим занятием застанут.

Никита стоял за креслом отца, и лицо у него было такое, будто он не на семейный портрет пришёл, а на собственные похороны: скулы ходят, взгляд тяжёлый, и вся фигура — как натянутая струна, которую тронь — зазвенит.

Аполлон, напротив, лучился: он стоял, опершись на трость, и улыбался в объектив так, как улыбаются только люди, которым в этот момент хорошо и которые искренне не понимают, отчего другим не так. Он был единственным в кадре, кто выглядел живым.

Аграфена смотрела на жениха — нет, не на жениха, а сквозь него, в какую-то свою, только ей ведомую даль, и в этом взгляде было столько тоски, что Вересов, сам того не желая, выдержку чуть не передержал.

А жених, Ефим Петрович, стоял прилизанный и прямой, как гвоздь, и смотрел в объектив с тем особенным, натренированным спокойствием, какое бывает у людей, которые всю жизнь позируют — не фотографам, а обстоятельствам. И только левая нога его, чуть согнутая, выдавала: этому человеку стоять на месте трудно. Он всё время хочет куда-то уйти.

Три секунды. Свет, как честный нотариус, всё это записал на стекло — без помарок, без ретуши, без снисхождения. И Вересов, ещё не зная, во что выльется эта съёмка, почувствовал вдруг холодок — тот самый, фотографический, какой бывает, когда в кадре, среди лиц, одно смотрит не туда, куда все.

— Готово, — выдохнул он, распрямляясь. — Благодарю покорно. Отпечатки будут через два дня.

Потом были поклоны, сборы, суeta на крыльце. Тихон Саввич жал Вересову руку долго и значительно, как жмут руку человеку, от которого ждут не только снимка, но и чего-то большего, — а может, это Вересову уже тогда померещилось. Марфа Егоровна села в пролётку, не

обернувшись. Никита подсадил отца и хлопнул дверцей, как захлопывают крышку сундука. Аполлон послал Вересову воздушный поцелуй и крикнул что-то про «непременно с мадерой». Аграфена, уже садясь, ещё раз оглянулась на жениха, и жених, отставший на крыльце, торопливо сунул в карман какую-то бумажку, которую всё вертел в пальцах, — и поспешил к пролётке, прихрамывая на левую ногу.

«Ишь ты, — подумал Вересов, глядя вслед пролёткам. — И у жениха, выходит, прихрамка. Город-то весь, как на грех, хромым сегодня».

Он проводил обе пролётки, поклонился каждой отдельно и вернулся в павильон, где Макар уже убирал кресла и сдувал с драпировки несуществующие пылинки.

— Ну как, Сергей Ильич? — спросил Макар. — Хорошие деньги?

— Деньги хорошие, — рассеянно ответил Вересов. — А вот семейство... славное семейство, Макар. Только уж больно по-разному они смотрят в одну сторону. Купец смотрит так, будто чего-то ждёт. Купчиха — будто чего-то боится. Старший сын — будто всё это ему поперёк горла. А жених... — он помолчал, — жених смотрит, как смотрят на сдачу: не обсчитали бы.

— А невеста? — спросил Макар.

— А невеста, — сказал Вересов, — смотрит на жениха так, как смотрят на запертую дверь, за которой кто-то стоит. Ты бы, Макар, на её месте тоже так смотрел.

Он постоял у окна, пока две пролётки не растворились в тумане, потом пожал плечами и спустился в тёмную комнату — проявлять.

А вечером, в красном свете фонаря, портрет вышел лишним.

Глава вторая,

в которой портрет выходит в люди, а семейное счастье даёт трещину

Всю ночь Вересов не спал. Он сидел в приёмной, курил дешёвый табак, от которого наутро будет болеть голова, и то и дело спускался в тёмную комнату — взглянуть, не исчезла ли седьмая фигура сама собой. Не исчезла. Стояла, как стояла: за левым плечом невесты, в чёрном, с бледным пятном вместо лица.

Дом вокруг него жил своей ночной жизнью. Где-то в мезонине тоскливо скрипели половицы — должно быть, ветер с Невы, а может, и сам дом переминался с ноги на ногу, как старик, у которого ломит кости к дождю. За окном фонарь на углу мигал жёлтым, и в этом мигании Вересову чудилось, что туман то наступает на стекло, то отступает, как человек, который не решается постучать. А в чулане под лестницей спал Макар, и сон его был крепок и безгрешен, как у всякого, кто в пятнадцать лет уже повидал столько, что небу впору отвернуться.

Вересов подходил к окну, прижимался лбом к холодному стеклу и думал. Думал он вот о чём.

Вариантов было ровно три, и все три — дурные.

Вариант первый: порча негатива. Бывает. Стекло, дурно промытое после прежней съёмки, хранит остаток старого изображения, и тогда поверх нового лица проступает старое, как проступает из-под свежих обоев прежний рисунок. Вересов сам видел такое у других мастеров: снимаешь чиновника — а у чиновника за плечом вдруг объявляется прошлогодняя невеста. Публика тогда охает и крестится, а знающий человек только плечами пожмёт: эмульсия, мол, скупа, не желает забывать. Но беда в том, что пластина у него была свежая. Новая. Залита коллодием третьего дня, в восемь утра, рукой Макара. На новом стекле старого изображения быть не может по законам той самой химии, ради которой Вересов когда-то бросил медицину.

Вариант второй: женщина и впрямь была в павильоне, а он её не заметил. Вересов прикинул и отмёл. Павильон — комната пустая, как ладонь; спрятаться в нём негде, разве что за драпировкой, а драпировку он собственноручно одёргивал перед съёмкой. Дверь была на запоре, ключ лежал у него в жилетном кармане. Окна под стеклянным скатом не отворялись с весны — он сам их тогда замазал замазкой, чтобы не дуло. И потом: чтобы так чётко выйти на снимке, надобно было стоять на свету, перед объективом, а не хорониться по углам.

Вариант третий Вересов гнал от себя, но тот возвращался, как возвращается навязчивый мотив: это не порча и не наваждение. Это нечто, чего он не понимает. А не понимал Вересов, человек науки, только одного — того, что противоречит свету.

Он так и не лёг. На рассвете, когда фонари стали гаснуть один за другим, как свечи на именинном пироге, он достал хозяйственную книгу — толстую, в клеёночной обложке, где каждая пластина имела номер, каждый клиент — фамилию, каждая кассета — пометку. Пластина номер сорок семь. Залита коллодием третьего дня, в восемь утра. Рукой Макара. Свежая, как яйцо из-под курицы.

— Стало быть, не наложение, — проговорил Вересов пустой комнате. — Стало быть, она там была.

Он произнёс это вслух, чтобы услышать, как глупо это звучит. Звучало глупо. Он повторил ещё раз — стало ещё глупее.

Тогда он поступил так, как поступал всегда, когда светопись задавала ему загадку: стал делать отпечатки. Проявил, закрепил, отмыл, высушил. Взял лупу. Согнулся над снимком, как следователь над местом преступления.

Женщина в чёрном была нечёткой, полупрозрачной — сквозь её плечо просвечивала драпировка, — но лицо под вуалью читалось. Молодая. Лет двадцати восьми. Тонкие губы, тём-

ные брови, взгляд — не в объектив, а чуть в сторону, словно она кого-то ждала. И ещё — Вересов заметил это не сразу — на груди у неё, под чёрным, угадывалась какая-то брошь, маленькая, тёмная. Или это блик. Или просто пятно на эмульсии. Вересов готов был поклясться, что никогда её не видел.

— А между тем вы, сударыня, изволили позировать в моём павильоне, — пробормотал он. — Любопытно, что ещё вы у меня позаимствовали, кроме кассеты.

Но ничего она не позаимствовала. Всё на месте: камеры, объективы, ванночки, флаконы. Банка с фиксажем — на полке, заперта, цела. Макар спал в чулане сном праведника и на все расспросы, учинённые ему в семь утра, отвечал лишь одно: «Я ж говорил — их шесть было! Чего пристали!»

К полудню Вересов принял решение. Он был человек гордый и честный в том особом смысле, в каком бывают честны фотографы: снимок может быть некрасив, но лгать он не должен. А снимок, на котором семь человек вместо шести, лжёт — неважно, в чью пользу. И неважно, что заказчик пока не видел и не требует.

— Еду к Полуяновым, — объявил он, укладывая отпечаток в картонную папку. — Объясню, что вышла порча, и переснимем бесплатно. Профессия требует.

— Ой ли, профессия, — хмыкнул Макар, развешивая на верёвке мокрые отпечатки. — Профессия требует деньги брать, а вы едете деньги возвращать. Я таких профессий не видывал.

— Вырастешь — увидишь. И прибери в павильоне. И не трогай кассеты.

— Да я их, почитай, пальцем не касаюсь! — возмутился Макар. — Лежат себе, чистые, помеченные...

Он осёкся на полуслове, и Вересов, уже взявшийся за шляпу, обернулся.

— Что?

— Да так, — Макар отвёл глаза. — Помеченные, говорю. Все до одной. Как вы велели.

Вересов прищурился, но допрашивать не стал. Потом. Всё потом: сначала — к купцу, а уж потом — к собственному ученику, у которого, чуял он нутром, за пазухой зреет какая-то невысказанная вина.

Дом Полуяновых стоял на Петербургской стороне, на Большом проспекте, — двухэтажный, каменный, с чугунными воротами и с вывеской «Чайная торговля Полуянов и сыновья» прямо по фасаду, выведенной золотом по чёрному. Вывеска была настолько добротна, что казалась главнее дома, а дом — лишь подставкой под неё. Ворота были на запоре, но калитка для приказчиков — открыта, и Вересов вошёл во двор, как свой, хотя своим тут не был.

Двор был крыт булыжником, чист, как сковорода, и по нему, поклонившись, сновал приказчикий люд: один нёс кипу накладных, другой катил бочонок, третий, согнувшись в три погибели, что-то записывал на ходу в засаленную книжку. Пахло рогожей, чаем и мокрым камнем. Вересова заметили, оглядели — и, решив, что это, верно, какой-нибудь страховой агент или заезжий комми, вновь занялись делами. Чайная торговля Полуяновых не останавливалась ни на минуту, даже когда в семье, судя по всему, назревала гроза.

Принял его Дутов — тот самый, с портфелем. Выслушал с непроницаемым лицом, кивнул и повёл в дом. И всю дорогу через двор молчал, только один раз, у самого крыльца, обернулся и поглядел на Вересова так, будто хотел что-то сказать, да раздумал.

Гостиная, куда его провели, была под стать хозяину: тяжёлая, тёмная, с мебелью, которая, казалось, выросла в пол ещё при Николае. На стенах — портреты предков в овальных рамах, все как один суровые, точно позировали им не фотографии, а следователи. В углу гудел самовар — огромный, медный, надраенный до того, что в него можно было смотреться, как в зеркало, и Вересов невольно подумал, что такому самовару самое место в павильоне: уж он-то на снимке вышел бы картинно.

Семейство собиралось в гостиную медленно и неохотно, как на панихиду. Марфа Егоровна вошла первой, оглядела Вересова с недоверием и села, не предложив ему сесть. Явился

Никита — встал у окна, сложив руки, как в павильоне, и даже, кажется, не поздоровался. Пришёл Аполлон, приглаживая волосы, и улыбнулся Вересову как старому знакомому — улыбнулся, впрочем, и стулу, и самовару, и собственному отражению в его медном боку. Аграфена Тихоновна села у двери, бледная, с пальцами в руках, и Вересов поймал её взгляд: она смотрела на него с каким-то тихим, почти болезненным любопытством, как смотрят на вестника, от которого ждут дурных новостей, но не смеют спросить.

Жениха не было. Вересов это отметил и отложил в уме: помолвка, портрет — а жениха на семейных разбирательствах не видно.

Сам хозяин вышел последним. В домашнем сюртуке, без цепи, Тихон Саввич выглядел меньше и старше, чем намердн, — так выглядит человек, с которого сняли парадную сбрую. Он тяжело опустился в кресло, огладил бороду и только потом поднял глаза на гостя.

— Ну-с, молодой человек, — прогудел он. — Говорят, у вас ко мне дело. Докладывайте.

Вересов вынул отпечаток и положил на стол, к самовару.

— Портрет испорчен, Тихон Саввич. Вышла порча негатива. Прошу прощения великодушно: переснимем в любой удобный день, бесплатно.

— Порча? — купец взял снимок. — Какая ещё порча?

И умолк.

В гостиной стало тихо так, что слышно было, как в самоваре шевелится уголь. Тихон Саввич смотрел на снимок, и лицо его медленно, снизу вверх, заливалось серым. Пальцы, державшие картон, побелели.

— Что это? — спросил он тихо. — Кто это?

Марфа Егоровна привстала, заглянула мужу через плечо — ахнула и прижала ко рту платок. Никита, не сходя с места, вытянул шею. Аполлон, любопытный, как кот, уже стоял рядом и вертел головой.

— Семь, — воскликнул он радостно. — А было шесть! Папенька, гляди, вас семеро! Это же... это же прелесть какая!

— Молчать! — рявкнул Никита так, что Аполлон подпрыгнул. — Дурак. Считал бы лучше свои карточные долги.

— Никита! — одёрнул Тихон Саввич, не отрывая глаз от снимка. — Не при людях.

— А при ком? — огрызнулся Никита. — При ком мне его стыдить, если он сам не стыдится? Он вчера опять проигрался, батюшка, я наверное знаю, мне приказчики донесли. А вы всё: «Поля да Поля»...

— Замолчи, говорю, — купец стукнул ладонью по подлокотнику, и самовар отозвался коротким гулом, как будто и он вступился за порядок. Потом Тихон Саввич поднял глаза на Вересова, и взгляд у него был не гневный — испуганный, и оттого ещё более тяжёлый.

— Откуда она здесь? — спросил он. — Отвечай.

— Не знаю, — честно признался Вересов. — В павильоне её не было. Клянусь чем угодно. Потому и говорю: порча. Бывает при съёмке...

— Не бывает, — перебил купец глухо. — У тебя, мил человек, не бывает. У тебя, я слышал, лучший павильон на острове. А выходит — ворует чужие лица?

Вересов побледнел, но сдержался.

— Я пришёл переснять, — ответил он ровно. — За свой счёт. И негатив уничтожу при вас.

— Уничтожишь, — отчеканил Никита, выходя из угла. — И негатив, и отпечатки. Все. И переснимать не надо. И денег твоих не надо.

— погоди, Никита, — вмешался Дутов, выступив от двери. — Человек признал вину, предлагает поправить...

— Молчи, Евграф, — отрезал Никита. — Не твоя лавка.

Он вынул из портмоне пачку, отсчитал — Вересов успел заметить, что пачка толстая, а купюры хрустят по-новому, — и положил на стол поверх снимка.

— Тут полтора ста рублей. Забирай. За съёмку, за порчу, за беспокойство. И чтобы духу твоего тут не было. Негатив сожги сегодня же. Отпечатки — все до единого. Понял?

Полтора ста рублей. Вересов мысленно пересчитал: это три месяца спокойной работы. Это новые кассеты, новый объектив, уголь для печи, полушубок Макару к зиме. Это, наконец, покой — та роскошь, которой у фотографа с Аптекарского отродясь не бывало. Полтора ста рублей за то, чтобы сжечь одну испорченную пластину, — таких денег не платят за порчу. Такие деньги платят за тишину. А тишину покупают те, кому есть что прятать.

— Понял, — сказал Вересов. И взял деньги.

— Вот и славно, — Никита впервые улыбнулся, и улыбка вышла у него как у человека, который захлопнул крышку. — Дутов проводит.

Он взял снимок со стола — не глядя, словно тот жёг ему пальцы, — и сунул в карман сюртука, и Вересов заметил, что рука у него при этом дрожит, как дрожит рука человека, который тащит из воды утопленника, а сам боится, что тот оживёт.

Уже в дверях Вересов обернулся. Тихон Саввич всё сидел в кресле, не отрывая глаз от того места на столе, где только что лежал снимок, и беззвучно, одними губами, повторял что-то. Вересов не расслышал, но разобрал по губам — и выходило похоже на «мертва».

А может, показалось. Может, «мерка» — купец всю жизнь торговал, ему везде мерещится мера.

Калитку за ним запер Дутов, и Вересов уже ступил на мостовую, когда сзади послышались быстрые лёгкие шаги и тихий оклик:

— Господин фотограф! Пойдите!

Он обернулся. От калитки, кутаясь в шаль, бежала Аграфена Тихоновна — бледная, запыхавшаяся, с тем самым лицом, какое Вересов заметил ещё в гостиной: с лица не сходило ожидание дурной вести.

— Вы что-то забыли мне сказать, сударыня? — спросил он, снимая шляпу.

— Нет, — она оглянулась на дом, словно боясь, что из окон глядят, и понизила голос до шёпота. — Я вам, сударь, сама хочу сказать. Только поклянитесь, что не выдадите меня.

— Клянусь светописью, — серьёзно произнёс Вересов, и Аграфена, не поняв шутки, кивнула, как будто это и впрямь была самая надёжная клятва на свете.

— Я эту женщину знаю, — выдохнула она. — Ту, что у нас на портрете вышла. Лица не вижу, а... а вот тут, — она коснулась рукой того места на груди, где у фигуры в чёрном темнела брошь, — брошь. Её я узнала. У нас в доме такая хранилась, в шкатулке, только её давно уж нет. Покойная... — она запнулась и поправилась: — Та, кого в доме покойной зовут, при ней была. Это её брошь.

Вересов подался вперёд.

— Кого «зовут покойной»? — спросил он тихо. — У вас в доме есть покойница, которой не было на портрете?

Аграфена прикусила губу и вдруг отшатнулась, как от удара, — видно, сказала больше, чем хотела.

— Не спрашивайте, — прошептала она, пятась к калитке. — Я и так лишнего наговорила. Только одно вам скажу, по-сестрински, будто вы мне брат: не сжигайте снимок, Сергей Ильич. Что бы вам ни платили. Светопись ваша... она, может, последняя правда, что в нашем доме осталась. — И, уже взявшись за кольцо калитки, прибавила так тихо, что Вересов скорее угадал, чем услышал: — А ещё — не ходите больше к нам. Ради Бога, не ходите. У нас теперь такое начнётся, что и стены не выдержат.

Калитка хлопнула, и Вересов остался один на пустой улице, под фонарём, в котором тонул туман. В голове у него, как два отпечатка на одном стекле, накладывались друг на друга

два голоса: старческий шёпот купца «мертва» — и этот, девичий, задыхающийся: «та, кого в доме покойной зовут». Стало быть, у Полуяновых и впрямь есть покойница, о которой не говорят. И покойница эта, судя по всему, вчера утром приходила к нему сниматься — тайком, под вуалью, «чтоб лицо не очень-то разобрать».

Вересов зашагал к мосту и только теперь понял, что всё это время сжимал в кармане пачку чужих денег. Словно держал за хвост змею.

До дому Вересов дошёл пешком, хотя были деньги и на извозчика. Шёл через Тучков мост, мимо серой Невы, и в голове у него, как мокрый отпечаток на верёвке, покачивалась одна и та же мысль: полтора рубля — это плата не за сожжённый негатив. Это плата за то, чтобы он никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не вспомнил, что на семейном портрете Полуяновых было семеро.

А такие платы, Вересов знал это по жизни, всегда имеют продолжение.

Вечером он сидел в тёмной комнате, курил и смотрел на негатив, который должен был сжечь. В красном свете фонаря женщина в чёрном казалась живой — только не дышала. И Вересов вдруг поймал себя на странном чувстве: он боялся не её, а за неё. Словно это не она явилась к нему на снимок незваной, а он сам впустил её — и теперь отвечал за неё, как хозяин отвечает за гостя.

Он зажёл лампу, достал из ящика стола чистый лист и карандаш и, сам не зная зачем, стал выписывать столбиком всё, что знал. Получилось немного и всё — странно. Женщина в чёрном. Откуда она взялась на стекле — непонятно. Её лицо, будто назло, легло поверх семейного портрета Полуяновых — и дом, где всё, казалось, было начищено до блеска, как самовар к приезду гостей, в один миг пошёл трещинами: купец побледнел до белизны, старший сын отсчитал полтора рубля не торгуясь, девица у калитки шептала про «покойницу» и умоляла не сжигать снимок, а сам хозяин, если Вересов верно прочёл по губам, повторил дважды: «мертва».

Он перечитал список, покачал головой и приписал внизу, сбоку, как приписывают вывод, который самому себе страшно сделать: «Она жива. И её боятся».

И вот тут-то, глянув на эту строчку, Вересов впервые в жизни ощутил то, чему у него не было названия, но что было знакомо каждому, кто когда-либо наводил фокус: упрямое, зудящее, как недодержанный снимок, желание досмотреть. Он был фотографом — человеком, который всю жизнь только и делает, что доводит до конца изображения: проявляет, закрепляет, отмывает. А тут перед ним лежало изображение, оборванное на самом интересном месте, — женщина, которой не должно быть, и семья, которая заплатила за то, чтобы её не было. И он понял: сжечь негатив — значит оборвать изображение. А он так не умел. Не умел по самой своей природе — как не умеют не дышать.

— Никакой я не сыщик, — объявил он вслух красному фонарю. — Я фотограф. Но фотограф, Макар, не бросает снимок на половине. А у этого снимка, чуёт моё сердце, сюжет только начинается.

Он погасил лампу и ещё долго сидел в темноте, вглядываясь в негатив, за которым, в красной полутьме, смутно угадывался контур женщины в чёрном. И ему казалось, что она смотрит на него оттуда — не с укором, а с вопросом: «Ну что, господин фотограф? Вы меня проявите — или так и оставите в темноте?»

— Сергей Ильич, — Макар стоял в дверях, придерживая створку. — Негатив-то... сжечь прикажете?

— Прикажу, — сказал Вересов. — Завтра.

— А отпечатки?

— И отпечатки.

— А тот, что под вашей подушкой?

Вересов вздохнул и выпустил дым к красному фонарю.

— А тот, что под подушкой, Макар, — сказал он, — оставим. В знак того, что светопись не лжёт. Даже когда все вокруг врут — и платят за молчание полтора рубля.

Макар помолчал, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг выпалил:

— Сергей Ильич, а ведь я вам соврал давеча. Насчёт кассет. Не все я пометил. Одну, что заряжал, так и не пометил — забегался. Думал, обойдётся.

Вересов медленно повернулся.

— Какую именно?

— А ту, что под номером сорок семь, — признался Макар, не поднимая глаз. — На которой Полуяновых снимали.

В тёмной комнате повисла тишина, и в этой тишине Вересов впервые за сутки — не закричал, нет. Он рассмеялся. Тихо, устало, почти ласково.

— Ну, Макар, — проговорил он сквозь смех. — Вот тебе и разгадка. Не привидение и не порча. Кассета-то, выходит, была не пустая. На ней кто-то уже снялся — до Полуяновых. А ты её, голубчик, зарядил вторично, и вышло у нас на одном стекле два лица: одно поверх другого.

— Так я... я же не нарочно! — замахал руками Макар. — Я же думал, она пустая! Кто ж знал!

— Никто не знал, — согласился Вересов. — Кроме той дамы, что снялась первой.

Он поднялся, взял с полки журнал записи клиентов и раскрыл на позавчерашнем дне.

— А теперь, Макар, — продолжал он, ведя пальцем по строчкам, — скажи-ка мне: кто приходил к нам сниматься в тот день, накануне Полуяновых? Кто был у нас утром, когда меня не было дома?

Макар наморщил лоб, потом хлопнул себя по лбу.

— Была! Была одна! В чёрном вся, под вуалью, как вдова! Говорит — снимите меня, да так, чтоб лицо не очень-то разобрать. Я и снял. Я же, говорит, в трауре, мне для памяти... А записать её я... — он осёкся. — Не записал. Она рубль дала и ушла, а я фамилию спросить постеснялся.

— Стеснялся он, — Вересов покачал головой. — А вышло, что дама эта теперь стоит на портрете купца Полуянова, и купец Полуянов за её молчание заплатил мне полтора рубля. Чувствуешь, Макар, чем пахнет?

— Чем?

— Неприятностями, — подтвердил Вересов. — Большими, семейными, купеческими неприятностями, в которые мы с тобой, по милости твоей незаписанной вдовы, уже вляпались по самую объективную крышку.

Он закрыл журнал, посмотрел на негатив, на Макара, на красный фонарь — и вдруг усмехнулся той самой усмешкой, с какой входят в тёмную комнату, заранее зная, что про-явится.

— Впрочем, — прибавил он, — поживём — увидим, кто из нас лишний на этом снимке.

Глава третья,

в которой купец пьёт чай в последний раз, а фотограф знакомится с приставом

Прошло два дня, и Вересов за это время успел снять свадьбу, двух младенцев и одного покойника — обычная петербургская неделя, в которой рождение, венчание и похороны идут подряд, как на конвейере, и только фотограф и гробовщик провожают всех троих одинаково любезным поклоном.

Свадьба вышла шумная, с приданым, с пьяным шафером и с тёщей, которая всё порывалась сесть в кадр вместо невесты. Младенцы, по обыкновению, не хотели ни лежать, ни сидеть, ни смотреть в объектив, а орали так, что стекло дрожало; Вересов снимал их по очереди, подкупая погремушкой и терпением, и вышли они на снимках пухлыми ангелами, хотя в жизни были сущими бесенятами. Покойник же, напротив, был само совершенство: лежал смирно, не моргал, не спорил, и позировал так, что любо-дорого. Снимал его Вересов в доме усопшего, среди плакальщиц и ладана, и всю дорогу ловил себя на нехорошей мысли: живые доставляют хлопот куда больше, чем мёртвые, — и не только в фотографии.

А в ателье тем временем творилось своё.

Макар с того самого вечера, как увидел седьмую фигуру, ходил сам не свой. Он вздрагивал от каждого скрипа, на ночь вешал над чуланом образок, доставшийся неведомо откуда, и при виде негатива крестился так часто, что у него, кажется, уже ломило правую руку. Вересов, человек, как он сам говорил, «анатомически чуждый суеверий», поначалу только посмеивался, но к третьему дню Макарова богобоязненность достигла таких размеров, что он перестал входить в тёмную комнату иначе как спиной вперёд и с приговоркой.

— Сергей Ильич, да вы поймите, — шептал он, озираясь на красный фонарь, как на живой глаз, — она ж не зря проявилась. Мёртвые, они, знаете, к чему снимаются? К беде. У нас на Сытном был случай: одна баба снялась, а на карточке рядом покойный муж вышел. Через неделю — готово, в яму. Вот вы смейтесь, смейтесь, а только я в эту кассету больше пальцем не ткну.

— Дурак ты, Макар, — отвечал Вересов, не поднимая головы от ретуши. — Никакая это не покойница. Это живая женщина, которая снялась у нас накануне и которой ты, голубчик, поленился пометить кассету. Свет дважды упал на одно стекло — вот тебе и вся твоя беда. Физика, а не покойник.

— А зачем тогда купец побелел? — не унимался Макар. — Зачем Никита полтора года отвалил, как за спасение души? Они-то, чай, не физику увидели. Они увидели то, что у них под кроватью лежит.

Вересов отложил штифт и впервые за день поглядел на Макара серьёзно.

— Вот это, брат, и есть самое любопытное, — заметил он. — Ты суеверия свои брось, а мозгой пораскинь. Семейство испугалось не стекла и не двойной засветки. Семейство испугалось лица. Стало быть, лицо это им знакомо. Стало быть, у Полуяновых, при всей их первой гильдии, водится какая-то женщина в чёрном, о которой они всем домом молчат и за молчание платят не торгуясь. — Он взял лупу и снова склонился над отпечатком. — И вот эту-то женщину, Макар, я намерен разыскать. Не потому, что мне больше всех надо. А потому, что фотограф, у которого на снимке завелась лишняя фигура, обязан знать её в лицо. Иначе какой он фотограф?

— А ежели она... ну... — Макар запнулся и перекрестился. — Ежели она и впрямь того?

— Тогда, — усмехнулся Вересов, — я сниму её ещё раз, при полном свете, и посмотрю, как она будет позировать. Покойники, Макар, не умеют мигать. А ежели мигает — значит, живая, и значит, у неё есть адрес, имя и, очень может быть, своя правда, которую она принесла ко мне в павильон, как приносят вещь на хранение. — Он помолчал. — А впрочем, хватит.

Иди-ка лучше заряди кассеты, все до единой. И на сей раз пометь. Пометь, Макар, каждую. Потому что вторая такая «покойница» мне уже будет стоить не полтора рубля, а доброго имени.

Макар ушёл в тёмную комнату, бормоча под нос что-то среднее между молитвой и арифметикой, а Вересов остался у окна и долго смотрел, как по мостовой, подняв воротники, спешат редкие прохожие. День был серый, без дождя, и в этом сером свете город казался проявленным наполовину — как снимок, который вынули из раствора слишком рано и не успели закрепить.

А вечерами, отпечатав и отмыв дневное, он садился в приёмной, заваривал чай и раскладывал перед собой то, что стало его тайной ношей: негатив с семью фигурами и единственный отпечаток. Он уже знал, что никакой чертовщины нет: кассета была заряжена дважды, Макар не пометил её, и на стекле совместились два снимка — вдова с позавчерашнего утра и семейство Полуяновых. Свет, дважды упавший на одно стекло. Скучная механика, никакого чуда.

Но отчего же тогда, спрашивал он себя, Тихон Саввич побелел как полотно? Отчего Никита отсчитал полтора рубля, не торгуясь? Отчего купец прошептал то, что Вересов разобрал по губам, — «мертва»? И отчего, наконец, сама вдова велела снять её «так, чтоб лицо не очень-то разобрать»?

Скучная механика, отвечал он сам себе. А вот люди при ней — вовсе не скучные.

Негатив он так и не сжёг. Прoderжал три дня в ящике стола, потом переложил в жестяную коробку из-под пластин, а коробку спрятал за обшивку стены в тёмной комнате — туда, где доска отходила на палец и куда Макар без надобности не лазал. Один отпечаток по-прежнему лежал под подушкой. Вересов говорил себе, что это на память. Врал, конечно: это была страховка. Человек, которому заплатили полтора рубля за молчание, имеет право держать под подушкой то, о чём молчит, — на случай, если молчание вдруг вздумают продать дороже.

— Страховка от порядочных людей, — объяснил он как-то Макару, — это не порок, а предусмотрительность. Порядочные люди, Макар, опаснее бандитов: бандит хотя бы не обижается, когда ты от него защищаешься.

Макар на это фыркнул и заявил, что под подушкой надёжнее было бы держать двугривенный и финку, но спорить не стал.

На второй день Вересов сдался и пошёл искать вдову.

Не то чтобы он надеялся её найти — Петербург велик, а женщина в трауре в нём — что песчинка в Неве. Но сидеть в ателье и ждать, пока судьба сама постучит в дверь, было выше его сил. Фотограф, в сущности, человек нетерпеливый: вся его профессия — это погоня за мгновением, которое не ждёт. И Вересов, надев пальто и взяв с собою отпечаток, отправился на Сытный рынок, куда, как известно, стекаются все слухи Петербургской стороны, а с ними — и все тайны.

День выдался серый, но без дождя — редкая милость для октября, — и Вересов шёл пешком, не торопясь, мимо деревянных домов с резными наличниками, мимо лавок, где уже торговали дровами к зиме, мимо прачек, развешивавших бельё, как серые флаги капитуляции перед наступающим холодом. Туман висел низко, цеплялся за фонари, и город в нём казался не совсем настоящим — так на недодержанном снимке все предметы теряют тяжесть и становятся похожи на воспоминания.

На Сытном кипела обычная жизнь: торговки горланили, мальчишки шныряли между возов, где-то визжала пила, а над всем этим стоял тот особенный, ни с чем не сравнимый запах — капусты, дегтя, рыбы и сырости, — который Вересов знал с тех пор, как подобрал здесь Макара. Он прошёлся по рядам, купил у знакомой торговки пяток горячих пирожков — «для виду и для Макара», — и завёл разговор о том о сём: не видал ли кто на днях молодую женщину в трауре, одну, с лицом, закрытым вуалью?

Торговка, дорожная, в трёх платках сразу, задумалась.

— В трауре-то у нас, барин, пол-Петербурга ходит, — отозвалась она, вытирая руки о передник. — Вдова на вдове. А вот чтоб молодая да одна, да ещё лицо прятала... — Она вдруг оживилась. — А ведь была такая! Третьего дня заходила, пирожок брала, да не съела — унесла. Стоит, озирается, будто высматривает кого. Я ещё подумала: «Ишь ты, и у покойниц аппетит». А она рубль подала — и не стала ждать сдачи. Уж больно ей, барин, некогда было.

Вересов насторожился.

— А куда пошла?

— А кто ж её знает, — торговка развела руками. — Туда, к Аптекарскому. Да ведь и все туда ходят: у вас, сказывают, не остров, а проходной двор.

Вересов поблагодарил и пошёл прочь, а в голове у него уже крутилась мысль, от которой пальцы сами сжались в кармане вокруг отпечатка. «Третьего дня. В самый день съёмки. Приходила на Сытный, озиралась, ушла к Аптекарскому». Выходило, что вдова — та самая, что снялась у него в ателье, — и после съёмки кружила поблизости. Зачем? Кого высматривала?

— Светопись, Макар, — проговорил он вслух, хотя Макара рядом не было, — снимает только то, что есть. А вот то, что вокруг кадра, — это уж наш с тобой удел: догадываться.

И, произнеся это имя, он невольно вспомнил, откуда у него, собственно, взялся Макар.

Макара он подобрал год назад, на этом самом рынке, — подобрал в буквальном смысле, как подбирают с мостовой монету, и, сказать по правде, до сих пор не знал, кто из них двоих кого тогда спас. Историю с калачом оба рассказывали по-разному и с одинаковым удовольствием, но было в той встрече и то, о чём Макар не рассказывал никому, — и что Вересов додумал сам, по обрывкам, как додумывают недостающие куски разбитого негатива.

Мальчишке было тогда четырнадцать, и он был тощий, как тень на северной стене. Отца своего он помнил смутно — извозчик с Песков, зимой застудил грудь и к весне сгорел; мать ходила стирать на Неву и однажды не вернулась — говорили, пошла по льду и провалилась, а может, и не провалилась, а просто ушла с кем-то, кто пообещал ей тёплую шаль, — этого Макар так и не вызнал. Остался он один на всём Сытном рынке, где его знали в лицо все торговки и все городовые, — первые подкармливали, вторые гоняли, и в этом чередовании прошло его детство, если можно назвать детством жизнь, в которой сыт бываешь, только когда тебе повезёт украсть.

И вот такого-то мальчишку Вересов, сам того не ожидая, привёл в ателье. Накормил, отвёл, сунул в чулан под лестницей тюфяк и наутро велел выучить, где что лежит. Через неделю Макар знал ателье лучше самого хозяина; через месяц — отличал негатив от позитива и мог зарядить кассету в темноте, не глядя; через полгода — выучил всех фотографов на Петербургской стороне, всех дворников в округе и всех торговок на Сытном по именам и по ценам. Память у него оказалась из тех, что бывают у беспризорных: не память, а нотариальная книга, где записано всё — лицо, слово, долг, обида. Вересов, человек книжный, называл это «мнемоникой бедняка» и ценил выше любого объектива.

А ещё у Макара было то, чего не купишь: нюх на беду. Он чуял неприятности за три улицы, как иные чуют дождь, и стоило ему насупиться и замолчать, Вересов уже знал: где-то что-то неладно. «Завхоз по сомнительным делам» — так он сам себя величал, и величал, надо признать, справедливо: сомнительных дел на его долю в этом городе выпадало больше, чем светлых снимков на долю Вересова.

За год мальчишка прижился так, что Вересов и не заметил, как из «подобранной монеты» сделался правой рукой, поверенным по уличным тайнам и — чего уж там — почти младшим братом, которому он по утрам заплетал, как мог, науку, а по вечерам отдавал на растерзание хозяйственную книгу, чтобы тот считал расход проявителя. Единственное, чему Вересов так и не сумел его обучить, — это не соваться туда, куда не просят. Но на то и нужны фотографу приключения, чтобы рядом был кто-то, кто полезет в них первым.

И теперь, шагая с Сытного к Аптекарскому, Вересов поймал себя на том, что ему не хватает привычного семенящего шага рядом — и привычного же ворчания, что барин опять купил пирожков меньше, чем надо. А это, подумал он, уже не наёмный ученик. Это что-то, о чём в его хозяйственной книге графы не предусмотрено.

До ателье он дошёл уже в сумерках. Поднимаясь на крыльцо, остановился и оглянулся на улицу — по старой, необъяснимой привычке, от которой никак не мог отучиться с тех пор, как Дутов ушёл, оглянувшись на павильон. Улица была пуста. Только фонарь на углу мигал, да в луже у крыльца дрожала его жёлтая, разбитая на тысячу осколков луна.

И Вересов, сам не зная отчего, вдруг подумал: «За мной тоже следят». Подумал — и тотчас отогнал мысль, как отгоняют муху. Но муха вернулась.

На третье утро всё и рухнуло.

Макар вернулся с Сытного рынка без хлеба, зато с новостью. Вошёл он не как всегда — вприпрыжку, с баранкой в кармане, — а медленно, как входят в дом, где лежит покойник, и с порога посмотрел на Вересова так, что тот сразу отложил ретушёвский штифт.

— Сергей Ильич, — начал Макар, и по голосу его было слышно, что он всю дорогу репетировал, как бы это помягче. — Полуянова хватились. Старшего. Тихона Саввича.

— Как хватились? — Вересов не повернулся. — Приболел?

— Никак нет. Лежит.

— Где лежит?

— А так. У себя в кабинете. Дворник у них через щель в ставенке глядел, потому что на стук не отворяли. Лежит, говорит, хозяин у самовара, лицом вниз. И чашка рядом, опрокинутая. И будто синий весь.

Вересов медленно положил штифт и повернулся на стуле. В приёмной сделалось тихо, только часы на стене отсчитывали секунды с тем бессердечным равнодушием, с каким они отсчитывают всё — и свадьбы, и похороны.

— Пьян, — выговорил он, сам не веря. — Кто в шестьдесят два года утром к самовару лицом вниз? Сердце, может. Купец — человек сырой, кровь густая.

— Может, и сердце, — Макар переступил с ноги на ногу. — Только, говорят, уже пристав ездил. И лекарь. И лекарь, говорят, такое слово сказал, что дворник разом протрезвел.

— Какое слово?

— «Отрава». Вот какое.

Вересов ничего не ответил. Он сидел и смотрел в одну точку, и в голове у него одно за другим проступали лица: белое лицо купца над снимком; дрожащая рука Никиты, забирающего карточку; вдова в чёрном, с лицом под вуалью. И холодок, тот самый, фотографический, пробежал у него по спине — от затылка до поясницы, как бежит он всегда, когда на стекле вместо ожидаемого лица начинает проступать чужое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.